

Тони Джадт

ЧТО ЖИВО, А ЧТО МЕРТВО В СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ¹

Американцы очень бы хотели, чтобы все стало лучше. Согласно опросам общественного мнения последних лет, каждый из них хотел бы, чтобы шансы его ребенка родиться здоровым увеличились. Они хотели бы, чтобы их жены и дочери имели такие же шансы на успешное материнство, что и женщины в иных развитых странах. Они бы непременно оценили полное медицинское обеспечение за низкую плату, перспективу более продолжительной жизни, лучшие коммунальные услуги, а также меньший уровень преступности.

Когда говорится о том, что все эти блага доступны в Австрии, Скандинавии или в Нидерландах, но что это связано с высокими налогами и «политикой вмешательства» государства, то многие из тех же американцев восклицают: «Но это же социализм! Мы не хотим, чтобы государство вмешивалось в наши дела. Кроме того, мы не желаем платить большие налоги».

Подобный когнитивный диссонанс сформировался не вчера. Столетие назад немецкий социолог Вернер Зомбарт сформулировал свой знаменитый вопрос: «Почему в Америке нет социализма?» Существует множество вариантов ответа на данный вопрос. Некоторые указывают на размеры страны: общие цели трудно заявить и координировать в масштабах империи. Есть, конечно, и культурные факторы, среди которых сугубо американская подозрительность к централизованному управлению.

Вовсе не случайно, что социал-демократия и государство всеобщего благосостояния лучше всего работали в маленьких гомогенных странах, в которых проблемы недоверия и взаимной подозрительности не проявлялись с такой остротой. Желание платить за блага других людей и оказываемые им услуги вытекает из понимания, что те, в свою очередь, сделают то же самое для вас и ваших детей: ведь эти люди подобны вам и обладают схожим взглядом на мир.

И наоборот, там, где миграция и меньшинства повлияли на демографию страны, зачастую можно обнаружить возрастание подозрительности

по отношению к другим, а также утрату энтузиазма по поводу институтов государства всеобщего благосостояния. Наконец, едва ли можно оспорить тезис о том, что социал-демократия и государство всеобщего благосостояния столкнулись сегодня с целым рядом серьезных вызовов. Их существованию ничего не грозит, однако они больше не могут чувствовать себя столь же самоуверенно, что и раньше.

Но все же сегодня меня беспокоит несколько иная проблема. Почему здесь, в США, мы испытываем такие трудности даже с тем, чтобы просто представить себя иной тип общества, отличный от того, с бои и неравенства которого так беспокоят нас сегодня? Похоже, мы просто утратили саму способность вопрошать о настоящем и уж тем более пытаться предложить ему альтернативы. Почему у нас не хватает сил помыслить иной тип общественного устройства, даже если это способно принести пользу всем нам?

Наша проблема — да простят мне мой академический жаргон — носит *дискурсивный* характер. Мы попросту не знаем, как говорить о таких вещах. Для понимания того, почему все обстоит именно так, требуется провести историческое исследование, ведь как однажды заметил Кейнс: «Изучение истории идей с необходимостью предшествует освобождению мысли». В целях ментальной эмансипации я бы предложил сегодня позволить себе чуть-чуть окунуться в историю предрассудка, суть которого состоит в повсеместном апеллировании к «экономизму», в будировании темы экономики при любом обсуждении общественно значимых вопросов.

На протяжении последних тридцати лет в большей части англоговорящего мира (хотя в континентальной Европе и в других странах ситуация обстоит чуть лучше) вопрос о том, стоит ли поддерживать то или иное предложение или инициативу, выводит нас не на вопрос о том, плохо это или хорошо. Вместо этого мы спрашиваем следующее: «Эффективно ли это? Продуктивно ли это? Поспособствует ли это росту внутреннего валового продукта? Поспособствует ли это росту?» Склонность избегать моральных соображений и ограничивать себя вопросами прибыли и издержек — то есть экономическими вопросами в узком смысле — вовсе не является инстинктивной чертой человека. Это приобретенная привычка.

Мы уже стояли перед этой проблемой. В 1905 г. молодой Уильям Беверидж — доклад которого в 1942 г. заложит основания для государства благосостояния в Великобритании — прочел в Оксфорде лекцию, в которой он задавался вопросом, почему политическая философия в публичных дискуссиях оказалась вытеснена на второй план классической экономикой. Данный вопрос не утратил свою актуальность и сегодня. Но обратите внимание, что коллапс политической мысли никак не связан с сочинениями самих великих экономистов. В XVIII столетии то, что Адам Смит называл «нравственным чувством», было одним из важнейших факторов в экономических дискуссиях.

Мысль о том, что дискуссии о государственной политике могут быть сведены к экономическим подсчетам, уже становился предметом для беспокойства. Маркиз де Кондорсе, один из наиболее талантливых описателей ком-

1. Judt T. What is Living and What is Dead in Social Democracy? // New York Review of Books. December 17 2009. Vol. 56. № 20.

мерческого капитализма времен его зарождения, с отвращением предвидел ситуацию, когда «свобода в глазах алчного народа окажется всего лишь необходимым условием для безопасности финансовых операций». Революции той эпохи создали угрозу смещения свободы делать деньги... со свободой как таковой. Но как мы дошли до того, чтобы мыслить исключительно в экономических понятиях? Очарованность бесцветным экономическим жаргоном не возникла из ниоткуда.

Наоборот, мы живем в длинной тени дискуссий, о которых большинство людей не имеют ни малейшего представления. Если мы зададимся вопросом о том, кто оказал самое большое влияние на современную англоязычную экономическую мысль, то на ум сразу придет пять мыслителей, ни один из которых не родился в США: Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайек, Йозеф Шумпетер, Карл Поппер и Питер Друкер. Первые двое были выдающимися «прадедушками» Чикагской школы макроэкономики свободного рынка. Шумпетер лучше всего известен своим вдохновенным описанием «созидательно-разрушительной» силы капитализма, Поппер — своей защитой «открытого общества», а также своей теорией тоталитаризма. Что касается Друкера, то его сочинения об управлении оказали колоссальное влияние на теорию и практику бизнеса в «жирные» декады послевоенного подъема.

Трое из этих джентльменов родились в Вене, четвертый (фон Мизес) — в австрийском Лемберге (ныне Львов), пятый (Шумпетер) — в Моравии, в тридцати километрах от имперской столицы. Все они оказались сильно затронуты межвоенной катастрофой, потрясшей родимую для них Австрию. После катаклизмов Первой мировой войны и короткого социалистического муниципального эксперимента в Вене страна пала ниц перед реакционным переворотом 1934 г., затем — четыре года спустя — она стала жертвой нацистского вторжения и оккупации.

Все они оказались вынуждены иммигрировать, все они — особенно Хайек — творили и писали в тени нависающего над ними главного вопроса всей их жизни: почему либеральное общество потерпело крах и сдалось на милость фашизму (по крайней мере, в случае Австрии)? Их ответ был таков: безуспешные попытки левых (марксистов) ввести в Австрии после 1918 г. государственное планирование, муниципальный контроль за услугами населению, а также экономический коллективизм не просто оказались дорогой в никуда, они напрямую привели к обратной реакции.

Таким образом, трагедия в Европе была вызвана неспособностью *левых* сначала достичь собственных целей, а затем защитить себя и свое либеральное наследие. Каждый из них, пусть и несколькими различными способами, приходил к одному и тому же выводу: лучший способ защитить либерализм, лучший способ защитить открытое общество и его свободы — это держать государство подальше от экономической жизни. Если держать государство на безопасной дистанции, если политики — даже самые благонамеренные — лишатся возможности планирования, манипулирования и регулирования дел своих сограждан, то тогда и экстремисты, как левого, так и правого толка, окажутся обезоруженными.

С этим же вызовом — как понимать то, что случилось между двумя войнами и как не допустить повторения подобного — столкнулся и Джон Мейнард Кейнс. Великий английский экономист, родившийся в 1883 г. (в один год с Шумпетером), вырос в стабильной, уверенной, процветающей и могущественной Великобритании. Затем со своего привилегированного поста в министерстве финансов, будучи участником Версальских переговоров, он наблюдал за тем, как его мир рушится, погребая под собой все гарантии и уверенности его культуры и класса. Кейнс также задавался главным вопросом Хасейка и его австрийских коллег. Но его ответ был совершенно иным.

Да, Кейнс признавал, что разложение поздней викторианской Европы было основополагающим переживанием его жизни. Сущностью его вклада в экономическую теорию было подчеркивание *неопределенности*, которую можно противопоставить самоуверенным панацеям, провозглашаемым классической и неоклассической экономикой. Кейнс делает упор на сущностной непредсказуемости человеческой жизни. Если из депрессии, фашизма, войны и можно извлечь какой-то урок, так это то, что неопределенность — достигшая уровня небезопасности и коллективного страха — есть разъедающая сила, угрожавшая и способная угрожать вновь либеральному миру.

Поэтому Кейнс говорил о возрастающей роли социального обеспечения, контролируемого государством, понимая под этим отнюдь не только экономическое вмешательство, препятствующее опасным циклам. Хасейк, в свою очередь, предлагал обратное. В классической работе 1944 г. «Дорога к рабству» он писал:

Никакое общее описание не может передать поразительного сходства идей, получивших ныне распространение в английской политической литературе, со взглядами, подорвавшими в свое время в Германии веру в устойчивость западной цивилизации и создавшими атмосферу, в которой мог добиться успеха нацизм.

Другими словами, Хасейк явно пророчествовал фашистский исход в случае победы в Англии лейбористов. И лейбористы действительно победили. Но они стали проводить политику, многие составляющие которой прямо отсылали к Кейнсу. Три следующих десятилетия в Великобритании (равно как и почти во всем Западном мире) прошли под знаком кейнсианских проблем и решений.

С тех пор, как известно, австрийцы сумели взять реванш. Почему это произошло — и произошло именно здесь, а не в ином месте — это очень интересный вопрос, заслуживающий отдельного рассмотрения. Но в любом случае сегодня мы живем посреди отзвуков спора (он напоминает свет уже угасшей звезды), случившегося семьдесят лет назад среди мужей, почти без исключения родившихся в конце XIX в. При этом, конечно, экономические термины, в которых мы научены мыслить, отнюдь не ассоциируются с этими столь далекими от нас политическими разногласиями. И все же без понимания последних мы подобны людям, говорящим на языке, который они сами до конца не понимают.

Государство всеобщего благосостояния может записать себе на счет немало заслуг. В некоторых странах оно носило социал-демократический характер и основывалось на амбициозных программах социалистического законодательства; в других — например, в Великобритании — оно проявило себя в серии прагматических политических решений, призванных смягчить недостатки и сократить наиболее радикальные проявления роскоши и нищеты. Общим мотивом и универсальным достижением неокейнсианского правительства послевоенной эпохи был потрясающе успешный опыт сокращения неравенства. Если сопоставить разрыв — в доходах или имуществе — между богатыми и бедными во всех странах континентальной Европы, а также в Великобритании и США, то вы увидите, что у послевоенных поколений он сократился весьма значительно.

С большим равенством пришли и другие блага. Со временем страх возможности возврата к экстремистской политике — политике отчаяния, зависти и незащищенности — улетучился. Западный индустриальный мир вступил в благодатную эру обеспеченной защищенности. То был пузырь, но очень комфортный пузырь, в котором люди чувствовали себя лучше, чем они могли бы даже надеяться в прошлом. Кроме того, у них были все шансы с уверенностью смотреть в будущее.

Парадокс развития государства всеобщего благосостояния — и вообще всех социал-демократических (и христианско-демократических) государств Европы — был элементарно прост: их успех со временем выветрил из памяти то, что привело их к жизни. Поколение, которое помнило 1930-е гг., по явным причинам куда больше дорожило идеей сохранения институтов и систем налогообложения, социального обслуживания и государственного попечения. Они видели в них бастионы, препятствующие возвращению ужасов прошлого. Однако их потомки — даже в Швеции — начали забывать о том, что в прошлом побудило европейцев ставить подобную защищенность на первое место.

Именно социал-демократия после Второй мировой войны привязывала средние классы к либеральным институтам (я использую понятие «средний класс» в европейском смысле). Во многих случаях они пользовались теми же услугами и теми же благами, что и бедные: бесплатное образование, дешевое или бесплатное здравоохранение, пенсии и тому подобное. В результате европейский средний класс к 1960-м гг. имел на руках доходы, которых у него никогда не было ранее, при этом многие из услуг уже были заранее оплачены из налогов. Таким образом, тот самый класс, который в межвоенные годы ощущал страх и незащищенность, отныне прочно вплеся в послевоенный демократический консенсус.

Однако к концу 1970-х гг. подобные соображения уже мало кого волновали. Начиная с налоговых и трудовых реформ времен Тэтчер и Рейгана, за которыми последовало освобождение финансового сектора от всех ограничений, проблема неравенства вновь стала головной болью для западных обществ. Индекс неравенства — после заметного снижения в период с 1910 по 1960-е гг. — вновь начал свой стабильный рост, который продолжался все три последних десятилетия.

Коэффициент Джини в США — показатель, измеряющий разрыв между бедными и богатыми, — сопоставим по своей величине с данным коэффициентом в Китае. Если учесть, что Китай является развивающейся страной, в которой существенный разрыв между богатым меньшинством и нищим большинством является неизбежным, то такое сопоставление США с Китаем способно очень многое рассказать о масштабах краха прежних устремлений.

Вспомним «Закон о личной ответственности и возможностях трудоустройства» 1996 г. (кстати, трудно придумать более оруэлловского названия), это детище времен эры Клинтона, которое было направлено на разрушение системы социального обеспечения в США. Положения данного закона напоминают другой закон, принятый в Англии около двух столетий назад: речь идет о новом законе о бедных 1834 г. Реалии этого закона хорошо нам известны благодаря их описанию Чарльзом Диккенсом в произведении «Оливер Твист». Когда Ноэ Клейпол в знаменитой сцене глумится над Оливером, называя его «выкормышем из работного дома» («Work'us»), то он в своем 1838 г. имеет в виду тех, кого мы сегодня пренебрежительно называем «королевами пособий» (welfare queens).

Новый закон о бедных был безумием, заставлявшим неимущих и безработных выбирать между работой за любые, даже самые ничтожные деньги и унижительным пребыванием в работном доме. В этой и во многих других формах социального обеспечения XIX в. (почему-то до сих пор осмысляемых и описываемых как «благотворительность») уровень поддержки и помощи задумывался так, чтобы казаться менее привлекательным, чем самая никудышная из альтернатив. Данная система опиралась на теории классической экономики, которые отрицали саму возможность существования безработицы на эффективном рынке: если заработная плата достаточно низка, а никакой альтернативы работе нет, то тогда каждый сможет найти работу.

На протяжении последующих ста пятидесяти лет реформаторы стремились уйти от этих унижительных практик. В свое время новый закон о бедных и его иностранные аналоги были замещены представлениями о социальной поддержке как праве человека. Безработные граждане перестали считаться недостойными получить рабочее место; их перестали наказывать за их статус; кроме того, никакие явные предрассудки уже не могли пошатнуть их статус добропорядочных членов общества. Именно государства всеобщего благосостояния середины XX в. больше чем что-то еще повлияли на дискредитацию позиции, согласно которой гражданский статус является производным от участия в экономических процессах.

В современных США в ситуации дефицита рабочих мест безработный больше уже не считается полноценным членом сообщества. Для получения даже скудного пособия он должен искать и там, где можно, принять предложение о работе, какой бы ни была зарплата. При этом не учитывается ни мизерность оплаты труда, ни отвращение к данному виду работы. Лишь после этого такой человек имеет право претендовать на внимание и заботу со стороны сограждан.

Почему лишь немногие из нас осуждают данные «реформы», реализованные президентом-демократом? Почему нас не трогает то клеймо, которое они ставят на своих жертвах? Мы не только не ставим под сомнение этот возврат к практикам времен раннего индустриального капитализма, мы, наоборот, принимаем эти меры и одобрительно молчим. В этом смысле мы являем разительный контраст с прежними поколениями. Тут можно вспомнить Толстого, который говорил: «Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что *все* окружающие его живут так же».

«Наша готовность восхищаться богатыми и знатными людьми, даже почти поклоняться им, презирать людей бедных и незнатного происхождения... представляется первоначальной и главной причиной искажения наших нравственных чувств». Это не мои слова. Эти слова были написаны Адамом Смитом, который вполне предвидел вероятность того, что мы начнем восхищаться богатыми и презирать бедных, восхищаться успехом и порицать неудачу, он считал это самым большим риском при переходе к коммерческому обществу, который он предвидел. Теперь его опасения стали явью.

Один из наиболее ярких примеров тех проблем, с которыми мы столкнулись, может показаться многим из вас простым техническим процессом. Я имею в виду процесс приватизации. В последние тридцать лет культ приватизации загипнотизировал западные (и многие не западные) правительства. Почему это произошло? Самым простым ответом будет следующий: в эпоху бюджетных ограничений приватизация, как кажется, способна экономить деньги. Если на государстве лежит бремя неэффективной социальной программы или затратной социальной услуги (водопроводная станция, автомобильный завод, железная дорога), то оно пытается переложить ее на плечи частных.

Продажа банально позволит государству заработать денег. В то же время, войдя в частный сектор, данная программа или услуга станет более эффективной в силу действия мотива прибыли. Получается, что выигрывают все: качество услуги повышается, государство избавляется от неудобной и плохо исполняемой обязанности, а государственный сектор экономики получает деньги от продажи.

Но хватит теории. Практика оказывается несколько иной. Что мы видели в последние три десятилетия, так это постепенное перекладывание ответственности с государства на частный сектор, что не принесло никакой заметной пользы обществу. Прежде всего, приватизация неэффективна. Большая часть того, что государство стремилось передать частному сектору, было убыточным: будь то железнодорожные компании, шахты, почтовые службы или энергетические компании — все они требовали затрат больше, чем сулили возможных прибылей.

Именно по этой причине данные общественные блага выглядели крайне непривлекательными в глазах частных покупателей. Для их привлечения требовалась значительная скидка. Но когда государство продает блага по дешевке, общество оказывается обделенным. Было подсчитано, что

по итогам приватизаций в Великобритании времен Тэтчер намеренно низкие цены на общественные активы, по которым они передавались в руки частных, привели к перетеканию четырнадцати миллиардов фунтов стерлингов из рук налогоплательщиков в руки акционеров и прочих инвесторов.

К этой потере следует добавить еще три миллиарда фунтов, которые остались на счетах банков, проводивших операции. Таким образом, государство заплатило частному сектору около семнадцати миллиардов фунтов (около тридцати миллиардов долларов) за то, чтобы тот приобрел активы, на которые иначе не было спроса. Это значительная сумма, которая примерно равна активам Гарвардского университета или же, например, валовому внутреннему продукту Парагвая или Боснии и Герцеговины. Едва ли такое развитие событий можно назвать эффективным использованием общих ресурсов.

Вторая проблема касается нравственного риска. Единственная причина, по которой частные инвесторы все же решаются покупать явно неэффективные общественные блага, это гарантии того, что государство сведет на нет или сократит их возможные риски. В случае лондонского метро покупателя заверили, что в любом случае он будет защищен от любых возможных крупных потерь — тем самым подрывается классический экономический довод в пользу приватизации: стремление инвестора к прибыли повышает эффективность. «Риск», о котором идет речь, заключается в том, что при таких привилегированных условиях частный сектор окажется столь же неэффективным, что и его государственный аналог. Более того, частный инвестор сможет получить всю возможную прибыль, переложив при этом все возможные риски на государство.

Третий и, наверное, самый убедительный довод против приватизации заключается в следующем. Нет никакого сомнения в том, что целый ряд сервисов и услуг, от которых государство пытается избавиться, оказываются на очень низком уровне, они недофинансируются и плохо координируются. И все же при всех изъянах почтовые службы, железнодорожные сети, дома престарелых, тюрьмы и прочие службы, поставленные в очередь на приватизацию, остаются в сфере ответственности государства. Даже после своей продажи они просто не могут быть просто оставлены на произвол рынка. Это именно те сферы деятельности, которые просто *не* могут обходиться без регулирования.

Подобное получастное, полугосударственное распоряжение жизненно важными коллективными обязательствами возвращает нас к хорошо известной ситуации. Если в США принимается решение проверить вашу налоговую декларацию, то хотя это решение и принимает государство, сама проверка, скорее всего, будет проводиться частной компанией. Последняя заключила контракт на оказание подобной услуги от лица государства подобно тому, как это сделали частные фирмы, оказывающие Вашингтону услуги в области безопасности, транспорта и технологий (естественно, не безвозмездно) в Ираке и иных местах. Точно также британское правительство сегодня заключает договора с частными предпринимателями

ми, которые обязуются заботиться о престарелых, — обязанность, которая некогда лежала на плечах государства.

Короче говоря, государства перекалывают свои обязательства на плечи частных фирм, которые обещают делать то же самое более экономно и эффективно, чем само государство. В XVIII в. данная практика называлась откупом налогов. Государства эпохи раннего Нового времени зачастую были лишены средств для сбора налогов, им приходилось обращаться к частным лицам, чтобы те выполнили эту задачу. Обещавший наибольшие сборы получал работу, при этом ему предоставлялось право собирать столько, сколько он сможет собрать и оставлять себе излишки (сумма, поступавшая в казну, оговаривалась). Таким образом, государство соглашалось чуть уменьшить сумму своих возможных налоговых поступлений в обмен на реальные деньги, которые можно было получить сегодня.

После падения монархии во Франции было повсеместно признано, что практика откупа налога оказалась крайне неэффективной. Во-первых, она дискредитировала государство, которое в глазах народа представало в образе жадного до денег сборщика. Во-вторых, она позволила государству получить куда меньшее количество средств, чем это можно было сделать, наладив эффективную систему налогообложения (тут свою роль сыграли те деньги, которые оставляли себе сборщики). Наконец, в-третьих, государство рассердило налогоплательщиков.

В современных США мы получили дискредитированное государство и плохо координируемые общие ресурсы. Как ни странно, данная ситуация не привела к появлению рассерженных налогоплательщиков — или, скажем так, последние имеют обыкновение сердиться по ложным поводам. И все же проблемы, которые мы сами себе создали, по своей сути напоминают проблемы, с которыми столкнулся в свое время «старый порядок».

Сегодня, как и в XVIII в., сужение сферы государственной ответственности и государственных полномочий привело к снижению его репутации в обществе. Результатом стало появление «закрытых поселков» во всех смыслах этого слова, то есть возникают подсистемы общества, мыслящие себя как нечто независимое от общества в целом и его государственных служащих в частности. Если нам постоянно приходится иметь дело с частными лицами, то тогда со временем наша связь с государственным сектором истончается, ведь мы больше не считаем его чем-то нужным. И тут не имеет значения, оказывает ли частный сектор некую услугу лучше или хуже, дешевле или дороже. В любом случае нами утрачивается связь с государством. Более того, нами утрачивается нечто важное, что объединяет — но обычно объединяло в прошлом — нас с нашими согражданами.

Данный процесс был прекрасно описан одним из тех, кто внес наибольший вклад в его успех: якобы, Маргарет Тэтчер однажды сказала — «общество не существует. Есть лишь отдельные мужчины и отдельные женщины и семьи...». Но если общество не существует, если есть лишь отдельные люди и государство как «ночной сторож», наблюдающий издали за делами, в которых оно никак не участвует, то что тогда будет объединять нас

в единое целое? Мы уже согласились на существование частных полицейских служб, частных почтовых служб, частных подрядчиков, помогающих государству вести войну. Мы согласились еще на очень многое сверх того. Мы «приватизировали» как раз те обязанности, которые государство в поте лица возлагало на себя по ходу XIX и начала XX столетий.

Что в таком случае будет служить в качестве буфера между гражданами и государством? Точно не «общество», которое поставлено на грань выживания ситуацией с тотальным сокращением государственного сектора. Ведь государство-то никуда не денется. Даже если мы лишим его всех обязанностей, оно все равно останется с нами, пусть даже в форме контролирующей и подавляющей силы. В результате между индивидом и государством не будет никаких промежуточных институтов или объединений: от паутины взаимных услуг и обязанностей, связывающих граждан друг с другом в пространстве общего для них публичного пространства, не останется и следа. Останутся лишь частные лица и корпорации, соревнующиеся между собой в том, кто успешнее обогатится за счет обмана государства.

Последствия этого сегодня не более привлекательны, чем во времена, предшествующие становлению современного государства. Одним из явных стимулов к созданию государства, каким мы знаем его сегодня, было понимание того, что никакое собрание индивидов не способно выжить без общих целей и институтов. Само представление о том, что частная выгода способна умножить общее благо, казалось явным абсурдом уже либеральным критикам нарождавшегося индустриального капитализма. Как писал Джон Стюарт Милль, «идея общества, скрепленного лишь отношениями и чувствами, вытекающими из финансового интереса, омерзительна».

Так что же делать? Следует начать с государства как воплощения коллективных интересов, коллективных целей и коллективных благ. Если мы окажемся неспособны «помыслить государство» заново, мы не сдвинемся с места. Но что именно должно делать государство? Как минимум оно не должно дублировать функции. Как писал Кейнс: «Важно, чтобы правительство не выполняло, лучше или хуже, тех функций, которые и так выполняют индивиды, оно должно делать то, что сейчас не делается вообще». Горький опыт прошедшего столетия четко подсказывает нам, что есть некоторые вещи, которые государству почти наверняка *не* стоит делать.

Нарратив XX в. о прогрессивном государстве опирался на заносчивое представление о том, что «мы» — реформаторы, социалисты, радикалы — имеем историю в качестве союзника, что наши проекты, по словам позднего Бернарда Уильямса, «приветствуются самой вселенной». Сегодня мы едва ли можем утверждать нечто с такой же уверенностью. Мы только-только пережили столетие, когда различные учения с настораживающей уверенностью твердили нам о том, что именно должно делать государство, они пытались убедить граждан (порой насильственными методами), что государство лучше знает, что им нужно. Мы просто не можем вернуться назад к этому. Поэтому, если нам все же предстоит «помыслить государство» заново, нам лучше бы начать с размышлений о его пределах.

По этим же причинам представляются тщетными любые попытки возродить риторику социал-демократии начала XX в. В те годы левые демократы представляли собой альтернативу более бескомпромиссным разновидностям марксистского революционного социализма, а позднее и альтернативу их коммунистическим преемникам. Отсюда вытекает некоторая шизофрения, свойственная социал-демократии. Смело шагая в лучшее будущее, социал-демократы все время нервно оглядывались на левый фланг. Они как бы все время повторяли — *мы* не авторитарны. *Мы* за свободу, а не за репрессии. *Мы* демократы, которые одновременно верят в социальную справедливость, регулируемые рынки и так далее.

Пока основной целью социал-демократов было убедить избирателей в том, что они представляют собой взвешенный радикальный выбор в пределах либерального политического спектра, подобный оборонительный настрой имел смысл. Но сегодня данная риторика производит ощущение какой-то несогласованности. Вовсе не случайно, что социал-демократ по духу Ангела Меркель сумела выиграть выборы в Германии у своих конкурентов из социал-демократической партии (даже в условиях финансового кризиса), заявив в качестве программы меры, сильно напоминающие меры, предлагаемые данной партией.

Социал-демократия в той или иной форме есть нечто рутинное для современной европейской политики. В Европе есть лишь очень небольшое число политиков (а по настоящему влиятельных и того меньше), которые не разделяют основные социал-демократические принципы, касающиеся обязанностей государства, хотя при этом они могут расходиться в видении объемов этих обязательств. Таким образом, социал-демократам в современной Европе просто нечего предложить: например, во Франции даже их бессознательная предрасположенность к государственной форме собственности едва ли сильно отличает их от кольберовских инстинктов правых голлистов. Социал-демократии требуется переосмысление своих целей.

Проблема заключается не в социал-демократической политике, но в том языке, который она использует. Раз угрозы авторитаризма слева больше уже не существует, упор на «демократию» оказывается несколько устаревшим. Сегодня мы все демократы. Однако понятие «социал» все еще имеет некоторый смысл — и сегодня даже больший, чем то было пару десятилетий назад, когда роль государственного сектора не оспаривала ни одна из сторон. Так что же такого особенного в понятии «социал», когда речь идет о социал-демократическом подходе к политике?

Представьте себе железнодорожную станцию. Только настоящую станцию, не нью-йоркскую станцию Пенсильвания, этот разорившийся торговый центр времен 1960-х гг., выстроенный над угольной шахтой. Я имею в виду станцию Ватерлоо в Лондоне, Гар-де-л'Эст в Париже, Виктория Терминус в Мумбаи или же впечатляющую станцию Хауптбанхоф в Берлине. Во всех этих храмах современной жизни частный сектор чувствует себя как дома: в конце концов, нет никаких оснований для того, чтобы газетный киоск или кофе-бар принадлежали государству. Каждый, кто пробовал засохший сэндвич из пластиковой

упаковки, продававшийся в сети кафе Британской железной дороги, согласится — конкуренцию в данной сфере следует приветствовать.

Однако пускать поезда на конкурентной основе просто невозможно. Железные дороги — как сельское хозяйство или почта — одновременно являются и формой экономической активности, и важным общественным благом. Более того, нельзя сделать железную дорогу более эффективной, пустив два поезда, чтобы установить, какой справится лучше. Железные дороги — это естественные монополии. Как это ни странно, но англичанам удалось устроить подобные соревнования между автобусными парками. Главный парадокс общественного транспорта звучит так: чем лучше он функционирует, тем менее он «эффективен».

Автобусная компания, которая оказывает качественные услуги тем, кто может себе это позволить, и которая при этом избегает отдаленных деревушек, где ее клиентами станут лишь случайные пенсионеры, будет приносить куда больше денег своему владельцу. Но кто-то — будь то государство или муниципальная власть — все же должны заботиться и о тех, кто не приносит прибыль. Неэффективные услуги должны оказываться. В противном случае краткосрочные экономические выгоды, обусловленные сокращением издержек, будут с лихвой компенсированы ущербом, наносимым сообществу в целом. Таким образом, результат введения «конкуренции» среди автобусных парков (за исключением, наверное, Лондона, где спрос есть всегда и во всех направлениях) будет следующим: рост издержек государственного сектора, рост цен на билеты до уровня, диктуемого рынком, а также заманчивые прибыли для расторопных автобусных компаний.

Поезда, равно как и автобусы, это *социальные службы*. Всякий смог бы вести прибыльное дело, держа составы, курсирующие по маршрутам Лондон — Эдинбург, Париж — Марсель, Бостон — Вашингтон. Ну а как быть с железнодорожными линиями там, где люди лишь изредка пользуются железной дорогой? Ни один человек не сможет платить полную экономическую стоимость наличия данной услуги ради тех редких случаев, когда она ему все же требуется. Это может делать лишь коллектив — государство, правительство, местные власти. Требуемые субсидии будут всегда казаться неэффективными тем или иным экономистам. Действительно, разве не дешевле убрать рельсы и пусть каждый ездит на автомобиле?!

В 1996 г., незадолго до приватизации железной дороги в Великобритании, Британская железнодорожная компания была наименее субсидируемой в Европе. В этом же году Франция планировала вложить в свои железные дороги 21 фунт на душу населения, Италия — 33 фунта, Великобритания же — всего 9. Данный контраст в точности отразился на качестве предлагаемых услуг. Это же объясняет и то, почему железная дорога в Великобритании смогла быть приватизирована лишь с большими потерями для бюджета, ее инфраструктура была просто в ужасном состоянии.

Разница в инвестициях прекрасно иллюстрирует мою мысль. Французы и итальянцы традиционно рассматривали свои железные дороги как предмет общественного попечения. Поезд, идущий в отдаленный регион, пусть

и являясь неэффективным в плане издержек, все же поддерживает жизнь данного сообщества. Железнодорожный маршрут сокращает ущерб окружающей среде, который был бы нанесен иными видами транспорта. Таким образом, железнодорожная станция, а также предлагаемая ею услуга, являются символами — а иногда и симптомами — общества как чего-то единого.

Выше я выдвинул тезис о том, что обеспечение отдаленного уголка страны железнодорожным сообщением при всей своей экономической «неэффективности» имеет глубокий социальный смысл. Однако тут остается один очень важный вопрос. Социал-демократы далеко не уйдут, предлагая похвальные цели, которые, по их же собственному признанию, являются куда более затратными, чем альтернативы. Мы похвалим систему социального обеспечения, посетуем на ее финансовые издержки... и на этом все закончится. Чтобы этого не произошло, требуется переосмыслить те средства, которые мы используем для оценки любых издержек, будь то издержки социальные или экономические.

Приведу один пример. Куда дешевле обходиться великодушными подачками нищим, чем гарантировать им на уровне права полный спектр социальных услуг. Под «великодушными подачками» я имею в виду религиозную благотворительность, частные или независимые инициативы, помощь, зависящую от степени доходов, в виде продуктовых карточек, субсидий на покупку домов, одежды и так далее. Однако быть получающей стороной при такой благотворительности в высшей степени унижительно. Проверка нуждаемости, которую власти Великобритании проводили в отношении жертв депрессии 1930-х гг., до сих пор вспоминается представителями старшего поколения с отвращением и даже яростью.

И наоборот, нет ничего унижительного в том, чтобы быть облагодетельствованным правом. Если получение пособия по безработице, инвалидности, пенсий, льготного жилья и иных финансируемых государством благ есть право (без всяких попыток выяснить, так ли глубоко вы пали, что «заслуживаете» помощи), то тогда его реализация не будет ни для кого унижительной. Однако предоставление подобных прав очень затратно.

Но что если само унижение рассматривать как издержку, как расходы, которые несет общество? Что если мы решимся «подсчитать» урон, наносимый людям, которые вынуждены унижаться перед своими согражданами для получения заветных жизненных благ? Другими словами, что если мы включим в свои подсчеты продуктивности, эффективности и благосостояния еще и различия между унижительной милостыней и выгодами права? В этом случае мы вполне можем придти к выводу о том, что универсальное социальное обеспечение, здравоохранение и общедоступный транспорт есть вполне экономный способ достижения наших общих целей. Впрочем, это будет очень неоднозначный подсчет: как измерить «унижение»? Как измерить издержки отлучения граждан от доступа к централизованным ресурсам? Сколько именно мы готовы платить за хорошее общество? Все это неясно. Но пока мы даже не задались данными вопросами, как мы можем надеяться получить на них ответы?

Что мы имеем в виду, когда говорим о «хорошем обществе»? С нормативной точки зрения мы могли бы начать с морального «нарратива», который мог бы стать точкой отсчета для нашего выбора. Данный нарратив позднее мог бы придти на смену узко экономическому жаргону, сужающему наши сегодняшние дискуссии. Однако определить наши общие цели в духе подобного нарратива не так-то просто.

В прошлом социал-демократия безоговорочно концентрировалась на вопросах о том, что есть правильно, а что — нет, это было обусловлено унаследованным ею домарксистским этическим вокабуляром, перемешанным с христианским презрением к излишкам богатства и преклонению перед материальным. Однако подобные размышления нередко отходили на второй план перед идеологической постановкой вопроса. Обречен ли капитализм? Если да, то данная конкретная политика ускоряет его крах или, наоборот, отсрочивает его? Если капитализм не обречен, значит, к политическому выбору следует подходить несколько с иных позиций. Как в одном, так и в другом случае основополагающий вопрос касается перспектив «системы», а не внутренних достоинств или изъянов конкретной инициативы. Подобные вопросы уже больше не беспокоят нас. Нас больше интересуют этические следствия нашего выбора.

Что конкретно представляется нам отталкивающим в финансовом капитализме (или «коммерческом обществе», как выражались в XVIII в.)? Что на инстинктивном уровне представляется нам неправильным в текущих институтах и что может быть сделано со всем этим? Что именно представляется нам несправедливым? Что именно задевается в нас при виде бесцеремонного лоббирования богатыми своих интересов в ущерб всем остальным? Что мы как граждане утратили в результате всего этого?

Ответы на данные вопросы должны принять форму нравственной критики изъянов неограниченного рынка или беспомощного государства. Мы должны понять, *почему* все это оскорбляет наше чувство справедливости. Короче говоря, нам следует вернуться к царству целей. И тут социал-демократия может оказать нам лишь очень ограниченную помощь, ведь ее собственный ответ на дилеммы капитализма был всего лишь запоздалым выражением просвещенческого морального дискурса в его применении к «социальному вопросу». Проблемы же, стоящие перед нами, носят несколько иной характер.

На мой взгляд, мы вступаем в новую эпоху небезопасности. В последний раз эта эпоха, проанализированная Кейнсом в работе «Экономические последствия мира» (1919), последовала за десятилетиями процветания и прогресса, а также заметного возрастания международных связей: то была «глобализация», которая, однако, пока еще не называлась этим словом. Как писал Кейнс, коммерческая экономика распространилась по всему миру. Торговля и коммуникации пережили беспрецедентный рост. До 1914 г. повсеместно утверждалось, что логика мирного экономического обмена восторжествует над национальным эгоизмом. Никто не ожидал, что все кончится так плачевно. Но вышло то, что вышло.

Мы тоже пережили эпоху стабильности, уверенности и иллюзии бесконечного экономического улучшения. Но все это позади. В ближайшем будущем нас ждет такая же неуверенность в плане экономики, какую мы переживаем в плане культуры. Мы куда меньше уверены в наших общих целях, в безопасности окружающей среды, в личной безопасности, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны. У нас нет ни малейшего представления относительно того, какой мир унаследуют наши дети, однако нам пора перестать тешить себя иллюзиями о том, что он будет напоминать наш мир в его лучших проявлениях.

Нам следует напомнить себе, как именно наши деды отвечали на схожие вызовы и угрозы. Социал-демократия в Европе, «Новый курс» и «Великое общество» в США — вот их ответы на неуверенность и несправедливость. Лишь немногие на Западе знают что такое видеть, как твой мир схлопывается. Нам даже трудно себе представить ситуацию, когда либеральные институты коллапсируют, а демократический консенсус просто испаряется. Однако именно такой сбой вызвал к жизни спор Хаейка и Кейнса, именно отсюда вырос кейнсианский консенсус и социал-демократический компромисс. Мы выросли в условиях этого консенсуса и компромисса, идеалы которого были подорваны его же успехом.

Если у социал-демократии все же есть будущее, то это будет социал-демократия страха (по аналогии с либерализмом страха в одноименном пронительном эссе Джудит Шкляр о политическом неравенстве и власти). Вместо попыток возродить язык оптимистического прогресса нам следует освежить в памяти недавнее прошлое. Главная задача радикальных инакомыслящих сегодня — напомнить своим слушателям об успехах XX в., а также о возможных последствиях нашего бездумного стремления разделаться с ними.

Будем откровенными, именно левым есть что охранять. Именно *правые* унаследовали амбициозное модернистское стремление уничтожать и внедрять нововведения во имя универсального проекта. Социал-демократам, которым свойственна гораздо большая умеренности и в стиле, и в амбициях, следует говорить с большей настойчивостью о прошлых достижениях. Становление системы социального обеспечения, занявшее целое столетие конструирование государственного сектора, блага и услуги которого олицетворяют и скрепляют нашу коллективную идентичность и наши общие цели, институты, помогающие нуждающимся и действующие на уровне прав и обязанностей, — все это отнюдь не маленькие достижения.

То, что эти достижения были лишь частичными, не должно нас беспокоить. Если XX в. и научил нас чему-то, так это тому, что чем более совершен ответ, тем более ужасны его последствия. Несовершенные достижения в не самых лучших обстоятельствах — лучшее, на что мы можем надеяться. Возможно, нам даже не стоит стремиться к чему-то большему. Некоторые деятели провели последние три десятилетия, методически дестабилизируя и уничтожая эти самые достижения. Тут есть от чего прийти в ярость. Хотя бы по причине благоразумия нас все же должен волновать следующий вопрос: почему мы с такой спешкой засыпаем все те водоотводы, которые

столь кропотливо выкапывались нашими предшественниками? Неужели мы уверены, что наводнения уже больше никогда не будут?

Социал-демократия страха заслуживает того, чтобы за нее бороться. Бросить достижения прошлого, значит предать тех, кто был до нас, а также тех, кто будет после. Было бы приятно — но тщетно — расписывать социал-демократию (или что-то в этом роде) как то будущее, которое ждет нас в идеальном мире. К сожалению, социал-демократия — это даже не наше идеальное прошлое. И все же из доступных на сегодняшний день альтернатив, ничего лучше найти нельзя. Как писал Оруэлл в сочинении «Памяти Каталонии», посвященном его впечатлениям от революционной Барселоны:

Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться.

Как мне кажется, то же самое может быть сказано и обо всем том, что останется в памяти о социал-демократии XX в.

Перевод с английского Дмитрия Узланера